



ЖЕНСКИЕ ДУШИ¹

«Есть женские души, которые вечно томятся...»

Иван Бунин

ТАРАКАН

За окном стояла крошечная зимняя тьма и куражилась вьюга. А в маленькой, жарко натопленной комнатке, где за столом, при двух неярких свечах, сидели тесным кружком старые одинокие люди, царил уют и покой. Сидели молча, только изредка переглядывались, посматривая на новичка — худого лысеющего мужчину с седой эспаньолкой. А тот отрешённо глядел за спины сидевших в чёрный проём окна, и если изредка и взглядывал на окружающих, то как-то так вскользь, никого на самом деле не видя, не замечая. Только тогда, когда уже громко и многозначительно покашливать начали, новенький перестал, наконец, глядеть в темноту и какое-то время, пытаясь сосредоточиться, внимательно всматривался в лица сидящих, в лица тех, с кем ему, вероятно, предстояло прожить в этом доме множество, множество дней. Он ведь в жизни не думал, что может здесь оказаться, что когда-нибудь станет вдруг одним из этих брошенных всеми, забытых всеми людей... Да кто ж, когда и зачем о таком думать способен?

Наконец, будто вынырнув из какой-то невероятной бездны, старик несильно помотал головой, медленно, крепко потёр лицо большими ладонями... и только тогда заговорил — негромко, спокойно, отстранённо несколько, так, будто и не было в комнате никого, будто это он сам с собой разговаривал:

— Мне сказали, что здесь как бы обычай есть: каждый новоприбывший должен немного о себе рассказать, о том, что его в конце концов в это виталище привело, чтобы лишних вопросов потом не задавали. Ну что ж, обычай — значит обычай, не мне нарушать.

Меня Александром Павловичем зовут. Раньше я жил далеко отсюда, в огромном провинциальном городе. Величина и провинциальность ведь не исключают друг друга. Да, так родственников у меня давно уже нет никаких, поэтому, когда на пенсию вышел и жизнь мегаполиса — шумная, светлая — раздражать, угнетать стала, решил перебраться в провинцию поменьше и поспокойнее: купил несколько лет назад на окраине вашего тихого городка крошечный домик с садом и переселился; а последнее время сдавать начал быстро, прибаливать часто, да и одиночество отчего-то крепко стало давить... Вот и попросился сюда.

¹ Публикуется в авторской редакции

Но только это всё внешняя, несущественная сторона, потому что на самом-то деле дорога в приют началась пятьдесят два года назад, вот в такой же снежный и ветренный день.

Ну да, не улыбайтесь. Вроде как до седых волос и болезней ещё было далековато, но только кто ж знает, из какого события-встречи что вытечет...

Совершенно точно этот день и час помню, потому что я здесь оказался... из-за таракана. Да-да, из-за обыкновенного чёрного, мерзопакостного таракана. Полвека прошло, а мне и до сих пор непонятно и странно, как один какой-то пустяк, ерунда дикая может полностью изменить, сломать, растоптать твою жизнь. И бесповоротно...

Я за три зимы до события этого влюбился ужасно. Первый и последний раз в жизни просто голову потерял; даже и не объяснить толком, что со мной происходило. С ума, наверно, сошёл.

Мы познакомились перед самыми новогодними праздниками, после студенческой вечеринки. Я её почти сразу заметил, и не потому, что она была какой-то необычайно красивой и броской — наверное, ослепительной красавицей назвать её было нельзя, — но хоровод мужской она ловко крутить умела, подавала всегда себя так — устоять невозможно. Вот и в тот вечер такое удивительное кружение вокруг неё происходило. Только на самом этом вечере я к ней подойти не решился. Даже потанцевать ни разу не пригласил, постеснялся, хоть до этого никакой такой особенной робости по отношению к девушкам за собою не замечал — знакомился запросто.

Ну, так вроде бы и не должно было случиться это знакомство, потому что она на совершенно другом факультете училась. Вроде бы не должно... Но только мы после вечера странным образом рядом в автобусе оказались, локоть к локтю (я ещё тогда удивился сильно, что она без провожатого домой едет), ну и разговорились, вернее, она меня тогда в разговор втянула.

— Я видела, вы на меня весь вечер смотрели... Меня Милой зовут или Милочкой, если хотите...

Говорила она тихо, почти шёпотом, но дерзкая колкость и сквозь шёпот явственно пробивалась, вполне явственно, а насмешливый взгляд очень красивых золотистых глаз интонацию эту только усиливал. Я от такой



открытой бесцеремонности растерялся даже — не то чтобы слишком, но вполне достаточно, чтобы Милочка смущение моё разглядеть смогла. А она, увидав, что стрела точно в цель угодила, стала дальше насмешничать:

— Я в Песчаном переулке живу, в общежитии. Если у вас есть немного времени, вы могли бы меня проводить, а то там темно и страшно. Вы, наверное, темноты не боитесь? Я ведь на вас рассчитывала: видите, одна еду. Ваши сказали, что нам по дороге. Правда?

Ещё спрашивала, провожаю ли девушек, если уже очень поздно; когда из автобуса вышли, стала заботливо узнавать тепло ли одет, не замёрзну ли по дороге, потому что идти далеко; перед самым подъездом вежливо поинтересовалась хорошо ли запомнил дорогу, а то вдруг заблужусь в незнакомом месте... И уже возле самой двери всего на секунду остановилась, подставила было щёку для поцелуя, но тут же отпрянула, прыснула:

— Загляни как-нибудь, — и хлопнула дверью.

Так у меня с Милочкой Глазенапой знакомство и завязалось. Только имя её ей совершенно не подходило, никакая милочка в ней даже и не ночевала. Во всем проглядывали эгоизм, гордыня, жестокость, холодная трезвость... Женщины, как мне кажется, вообще прагматичней мужчин, а уж Милочка — любой могла бы дать фору. Впрочем, гибкий ум, изящество, чудесная женственность, обольстительность, чувственность, страстность... все скверные качества сглаживали, усыпляли, притупляли мужскую бдительность: скорпион в меду. Нет, неправильно. Правильно — мёд в скорпионе. И мёда этого ой как сладко, и ой как не просто было отведать.

А вот фамилия Глазенапа шла ей необычайно, потому что глаза у неё были восхитительные: немного выпуклые, огромные, золотые, а ресницы — тёмные, длинные, будто две ночных бабочки. Изумительные были глаза! Из-за них для меня чудесная эта фамилия навсегда превратилась в имя, и я иначе, как Глазенапой, её и не называл никогда. Даже когда мы ссорились. Даже потом, когда уже насовсем расстались, мысленно называл её только так. Она и сегодня, через полвека, остаётся для меня — Глазенапой. Жива ли — не знаю.

Я домосед и книжник, мало где был, мало что видел, да и «охоты к перемене мест» никогда особенно не было, оттого, наверное, и в людях всегда разбирался неважно, особенно в женщинах. А она мне в тот вечер так в душу запала, что и разбираться ни в чем не стал бы, даже если б умел...

Я, конечно, на следующий же день не пришёл, прилетел, примчался, принесся... еле дожид до вечера. Мы долго гуляли, говорили про всё на свете — знакомились. Глазенапа, невозможно представить, за этот короткий срок изменилась до неузнаваемости: вела себя тихо, серьёзно, даже ласково, ни единой насмешки или колкости — узнать невозможно. К сожалению, после, через совсем короткое время, немного совсем часов таких выпало — мирных, добрых... А я привязывался, прикипал к ней всё больше и больше. Если вдруг что-то мешало прийти, места не находил, дождаться не мог, когда можно будет увидеть, в глаза чудесные заглянуть. И всё время мне почему-то казались отношения наши слегка нереальными: вроде, как и на самом деле, а вроде как сон — и не очнётся, никак.

Так тихо и мирно, как я уже и сказал, продолжалось совсем недолго. Стоило Глазенапе в один прекрасный момент посчитать, что рыбка с крючка не сорвётся, как она стала аккуратно менять отношения. Потихоньку образовала между нами небольшой

коридорчик-дистанцию; и то пекло в коридорчике этом стояло — невыносимое, то гулял ледяной безжалостный ветер, всё вымораживая, то тишь и благодать царили, давая душе передышку, то, всё живое уничтожая, ураган безумный ревел. И держала она дистанцию эту необычайно умело — не мягко — не жёстко, так чтобы надежда на доброе будущее всегда оставалась, но и в уверенность никогда не перерастала.

Но, видимо, она что-то не так просчитала, где-то переборщила и месяца через три-четыре после знакомства отношения наши дали лёгкую, чуть заметную трещинку, ведь совсем немного времени миновало, не успел я ещё окончательно на крючок насадиться.

Впрочем, она эту трещинку первой почувствовала, а когда трещинка стала и для меня довольно заметной, вдруг объявила, что хочет от меня отдохнуть. Нет, никаких расставаний, ни боже мой, просто экзамены скоро, дел масса... И всё в том же духе. Я пару раз после этого попытался с ней встретиться, но такой отпор получил... Расстались. Может из-за того, что она внезапно и резко так всё оборвала, мне муторно было — невыносимо, увидеть хотелось — ужасно... Как вдруг, в середине лета, получаю письмо: «Приезжай, если можешь», — и адрес.

Я на перекладных чуть не сутки к ней добирался — их фольклорную экспедицию в такую Тмутаракань послали... едва отыскал.

Глазенапа на шее моей повисла, всё всхлипывала, всхлипывала, просила прощения, целовала, ласкала, не могла оторваться. И такой тогда на меня водопад счастья обрушился, такой ливень чудесной, удивительной нежности!.. Мы два дня выходных ни на миг не расставались. Ушли из посёлка. Бродили по лесу, целовались не переставая, купались в лесных озёрах, даже ночевали в чащобе лесной у костра, чтобы никому-никому на глаза не показываться — не хотел я, не мог никаких людей видеть, чтобы они даже взглядом к нам не прикоснулись, даже малую капельку счастья отнять, украсть не смогли.

А через месяц всего Глазенапа вернулась в город — равнодушнее камня. Будто и не было ничего совершенно, будто я в какой чёрной измене повинен, будто... Да бог с ним. Всё давно уже без остатка растворилось во времени и пространстве, развеялось по ветру.

Потом (мне девчонки нашёптывали время от времени всякие глупости) Кочубей какой-то у неё появился — пропал. Ещё кто-то... Так мы с нею сходились и расходились всё время. Сходились и расходились. Стоило только ей позвать меня понастойчивей, как я готов был забыть, простить всё на свете. А потом вдруг сель ледяной с горы падал — и всё и вся погребал под собой, всё и вся...

Как-то осенью, когда отношения были почти что нормальными, купили мы с Глазенапой на неделю путёвки в пригородный дом отдыха. Приехали рано утром. Не успели домик занять и распаковать, как Глазенапа исчезла и появилась только в столовой, за ужином. Она вся была возбуждённая необычайно, раскрасневшаяся: «Так здорово, так интересно!.. Я потом, потом тебе всё расскажу», — и снова исчезла, до ночи. Так и продолжалось: она с утра раннего убегала куда-то, и встречались мы только в столовой и в домике поздно ночью: «Ой, спать хочу страшно, завтра всё, завтра, не обижайся...». А я всё это время слонялся один по окрестностям, как дурак неприкаянный, понимал, что что-то ещё при покупке путёвок было задумано, но даже представить не мог, с кем, почему и зачем. На третий день вечером я вещи собрал и уехал. После этой выходки дикой я довольно долго Глазенапу не видел, и вроде

бы даже остывать стал, на других девчонок засматриваться... Только мы совершенно случайно(?) встретились в букинистическом, разумеется, разговорились и карусель эта чёртова завертелась по новой.

Три года длилось такое невыносимое счастье, и конец отношениям — даже и представить было нельзя. Будто цепко трясина держала, будто и вправду существует приворотное зелье и меня опоили. Никакие, ничьи доводы не помогали, не действовали... Да и не хотел я ничьих доводов слышать. За одно доброе слово, прикосновение ласковое — душу готов был продать.

Однажды, в одно из редких добрых мгновений, я сделал Глазенапе предложение. Она долго молчала, как-то нахохлилась, съёжилась вся, а потом вдруг расплакалась горько-прегорько, навзрыд просто, и убежала. Несколько дней после этого отыскать её нигде не удавалось. Потом внезапно сама позвонила и была какое-то время, что называется, тише воды и ниже травы, но вернуться к разговору о свадьбе больше не позволяла. Видно, не так я, не вовремя что-то сделал, не тот выбрал случай... Так и повисло тогда это в воздухе, а после и вовсе растаяло.

Да, так вот не спеша мы к концу почти и подоברались. Как я уже и сказал, закончилась эта история, как и началась, почти перед новым годом. Глазенапа в тот день позвонила мне рано утром и попросила заехать:

— Ну, на часик всего, ну, может, на полтора — подарки купить, ну, самое большее — на два. Мы быстро-быстро, а потом, соседка уехала, у меня посидим... Ну вот и чудесно, вот и ладушки.

Мы весь день до бесконечности по универсам, магазинам, лавочкам, лавкам, лавчонкам, базарам торговым рядам и центрам бродили, бродили, бродили... Искали подарки, наряды, бижутерию, косметику — всякие и разнообразные глупости. К вечеру от усталости, холода, голода, мокрых ног — я осатанел просто. Если б не груда пакетов, коробок, коробочек, свёртков... которыми я был нагружен, — бросил бы всё давно к чёртовой матери. Настроение у меня при этом всё время менялось: я то приходил в щенячий восторг от изыска и чудесной женственности Глазенапы, то впадал в угрюмое ожесточение от бесконечности и занудности происходящего.

К тому времени, когда всё, наконец, подошло к концу мы, будто сильно друг другу поднадоевшая супружеская чета, бранились не переставая, в голос, пугая и возмущая прохожих, но больше ни на кого не обращая внимания, и когда наконец, уже в сумерках, сели в трамвай, чтобы ехать домой, я был уже просто на грани, накалён до абсолютного бешенства... А тут ещё чёртов трамвай набитый битком! Меня с моей дикой гирляндой (держаться мне было, разумеется, нечем) пинали, крутили, дёргали... Наконец, на моё несказанное счастье, прямо перед Глазенапой какая-то бабка вдруг поднялась и стала к выходу продираться. Глазенапа тут же плюхнулась на свободное место, я немедленно ей на колени свалил все покупки и встал позади за её креслом, чтоб она не могла меня видеть, а она в темноту за окном уставилась и мы оба демонстративно молчали.

На ней в тот день было светло-серое кашемировое пальто с большим песцовым воротником и песцовая шапка-башня — всё очень красивое, светлое, серебристое, прямо искрящееся.

А момент, когда всё началось, я пропустил. И откуда он взялся — зимой, в трамвае, в лютый мороз — просто непредставимо. Может, из сумки чьей-нибудь выполз. Скорее

всего. Только я таракана увидел, когда он уже выше локтя Глазенапиного забрался. Таракан был огромный, откормленный, отвратительно-чёрный, и взбирался он не спеша, останавливаясь, оглядываясь, наслаждаясь, видимо, замечательным приключением, пока не добрался до воротника и не уселся на серебре песочном, над левым плечом, преспокойно и важно шевеля отвратительными усами и лапами перебирая. Мне б страхнуть его, сбить, а на меня будто ступор нашёл, будто парализовало и такое вдруг отвращение, омерзение внутри поднялось, почему-то на Глазенапу перенесённое — и передать не могу... Так аж до тех пор продолжалось, пока майор-артиллерист молча не сбросил его щелчком на пол. А я в ту же минуту протиснулся к задней двери, вышел... И всё.

Больше я никогда Глазенапу не видел.

Поначалу так и не смог себя перебороть. Во мне, точно шип, таракан проклятый торчал. Будто он у неё изнутри откуда-то вылез. Она даже звонила как-то, да я трубку бросил. Отвращение — непереносимое, непреодолимое просто — тогда во мне поселилось.

Потом я из города, где жил и учился, уехал надолго. А когда назад через много лет возвратился, так мне ужасно снова увидеть её захотелось!.. Даже таракан этот мерзкий как-то забылся. Да она к тому времени тоже уехала, и найти хоть кого-нибудь, кто бы знал о ней что-то, сколько я по старым знакомым своим не метался, — так и не удалось.

Со временем скверное выцвело, притупилось, только искры счастья в душе остались, и чем дальше, тем ярче они становились, пока память не превратила всё в ослепительный, незабываемый фейерверк...

Нет, были после, через время, какие-то встречи, какие-то женщины... Иногда даже далеко довольно отношения заходили. А потом я вдруг, посреди отношений этих, вспоминал Глазенапу... На этом всё и заканчивалось, потому что все пресными по сравнению с нею казались, абсолютно безвкусными, как трава.

Вся остальная жизнь тоже не очень удачно сложилась. В ней будто во всем провал без Глазенапы образовался, ледяной, бездонный, ничем и никем не заполнимый провал. Всё в судьбе поперёк пошло, и вот, наконец, здесь, среди совершенно чужих мне людей, завершится!

Мне кажется, что постепенно могло бы у нас всё наладиться, образоваться и, вероятно, теперь не здесь бы, не так заканчивалось... Дался же мне тогда... этот трижды проклятый таракан.

ВДОВА

Нам с женой с давних пор нравится путешествовать без какой-либо цели. Катим мы так с ней однажды куда глаза глядят и вдруг видим — диво дивное: бежит в чистом поле барышня каменная и косынкой изо всех сил машет кому-то. Кругом овраги да буераки, жилья никакого, народа живого, вроде, тоже не видно. Откуда бы в таком месте скульптура могла появиться? Бежала, что ль, куда красавица-дэвица, да окаменела? Чудо — прямо как в сказке.

Дорога широкой дугой огибала огромный овраг, и каменная бегунья так долго оставалась перед глазами, что нас в конце концов деятельное любопытство разобрало, и захотелось поближе на ваятельный артефакт поглядеть. В ироническом настроении выбрались мы из машины, по довольно пересечённой местности приблизились к странной скульптуре вплотную — и застыли: таким скорбным, таким нестерпимо горестным лицо молодой женщины вблизи оказалось, что веселье беспричинное с нас моментально слетело. И так смутно вдруг на душе сделалось, будто с нами несчастье неведомое произошло.

Постамент у скульптуры был совсем низкий, густой травой скрытый, потому и казалось, что бежит женщина прямо по полю: из последних сил своих устремилась за кем-то в безоглядной, безнадежной погоне. Из груди её рвался безмолвный, отчаянный крик, резкий ветер порывами хлестал по лицу, немилосердно трепал густые длинные волосы, сарафан раздувал, ноги спутывал — тормозил, не давал идти... А подножье скульптуры — всё было цветами усыпано: и сухие цветы лежали вокруг, и совсем ещё свежие.

Мы постояли немного и медленно побрели обратно, забрались в кабину и молча сидели — никакие слова не хотелось произносить.

— Знаешь, — сказала жена, когда мы намолчались вдосталь, — а давай узнаем хоть что-нибудь. Наверняка местные рассказать что-то могут.

— Хорошо, — сказал я. — Как первые дома покажутся, так и свернём. Может, и вправду узнаем что.

Так мы в дом к старому учителю и попали, и вот что он рассказал.

— Я, значит, начала видеть никак не мог, потому что тогда, как говорят, ещё и в проекте не значился. Но отец мой, Степан Порфирьевич, земля ему пухом, про это несколько раз рассказывал, так что я, таким образом, и прелюдию знаю.

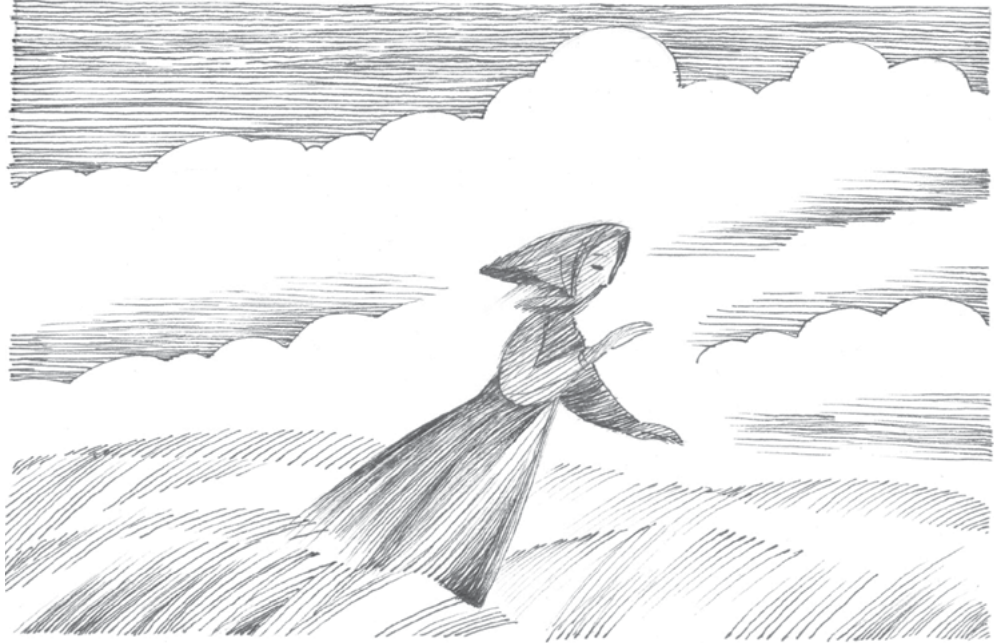
Ну да, с одной стороны страшные тогда времена, «окаянные» были, а с другой — такая неугомонная созидательская нежданно в людях проснулась!.. Идеи всяческие — просто фонтанами били. Вот одну такую идею кто-то в нашей местности и исполнил.

Активисты здешнии даже группу образовали. Изо всех сил пытались дознаться, кто Вдову изваял. Даже какого-то крупного специалиста из Москвы приглашали. Тот приехал, руками развёл, языком поцокал, да назад и поворотил. Так ничего, значит, выяснить за всё время и не получилось.

Вода в краях наших — целебная, повсюду источники минеральные бьют; вот и решила местная власть к десятилетию Октября санаторий для красноармейцев больных построить.

Первый камень под оркестр военный заложили, транспаранты с плакатами всюду понавывешивали и скульптуры, ну, про которые вы расспрашиваете, одним духом поставили. Их ведь, скульптур этих, две поначалу было. Ближе к шоссе, по которому вы к нам приехали, значит, красноармеец стоял — в обмотках, шинелишке нараспашку, папаше со звёздочкой и винтовкой через плечо. Солдатик с весёлой улыбочкой уж почти что на тракт выходил и небрежно, повернувшись вполоборота, на прощанье рукой помахивал; а девушка издалека, аж с поля за ним бежала, и всё звала, звала...

Санаторий потом и вправду построили, но в сорока километрах отсюда и для начальства военного. Там, значит, пласт водяной помощней, лес с рекою поближе, да и вся местность для строительства приспособленной оказалась. В общем, перерыли



здесь всё поначалу, да бросили, а скульптуры не стали отчего-то переносить, тут и оставили. Так они до войны, на удивление всем, у нас и простояли.

Потом война началась. Это я, значит, хорошо уже помню. По нашим местам прифронтовая полоса проходила, и в райцентре, в бывшей земской больнице, огромный госпиталь сделали. Однажды летом, в сорок третьем году, туда санитарной колонной раненых с фронта везли — машин восемь, десять.

Откуда он только в тот день налетел этот «фоккер». Ведь тихо всё было! Он, ублюдок, и бомбы-то две всего сбросил, но первой попал в самый центр, а вторая упала на обочину трассы, в хвосте колонны, как раз там, где каменный красноармеец стоял. Тогда мало кто уцелел. И красноармейца взрывной волной тоже начисто срезало.

Так вторая скульптура и осталась одна. Бобылкой, значит, без солдатика своего осталась. Вот её Вдовой с тех пор и зовут.

Может, кто шутя в первый раз пришёл. Хотя какие тут шутки. Скорее другая какая причина-кручина была. А только однажды солдатские вдовы к Вдове каменной приходиться стали — от чужих глаз подальше бедами всякими поделиться, ну и поплакать, понятно. Поначалу только наши ходили, а позднее, значит, и из дальних мест начали.

Потом группками вдовыми затеяли на Девятое мая возле Вдовы собираться. Придут, сядут, разольют по рюмочкам горькую и кручинные песни поют. И так это всё душевно у них выходило... что и не вдовый народ понемногу стал к ним подтягиваться. Так одним майским днём и ветераны к вдовам присоединились. А, кажется, уже в конце шестидесятых — традицией это, значит, в местах наших сделалось.

В округе монументов всяких да обелисков, под копырку сработанных, — и честь не возможно, даже вечный огонь в райцентре имеется, а народ сюда едет — до земли солдатской вдове поклониться, рядом с ней своих близких вспомнить. И афганской войной искалеченные, и чеченскими...

Вас вот тоже, видимо, зацепило, тоже душу Вдовы почувствовали.

Да, а лет так пятнадцать назад вдруг стали молодожёны сюда приезжать после закса — чтоб, значит, первый совместный глоток шампанского здесь именно выпить, на глазах у Вдовы — за счастливую, долгую и неразлучную жизнь. Ну да, именно так. В загсе расписываются, как и положено, фотографии всякие делают, а шампанское уже возле Вдовы открывают.

Получается, мастер неведомый — произведение редкое сотворил. На долгие времена. Жаль, узнать ничего про него не вышло. Нет его уже, видно, в живых.

На обратном пути мы снова возле скульптуры остановились. Нарвали цветов полевых и к ногам Вдовы положили. Жена прижалась ко мне и мы, крепко обнявшись, постояли недолго. А потом молча по глотку вина выпили. За тех, кто никогда уже не возвратится. И за тех, кто не возвратившихся помнит.

ГОЛОС

Ольге Тотровой, чей голос я, надеюсь, ещё услышу.

Однажды поздней осенью я приехал в довольно большой среднерусский город, где через несколько дней должна была состояться какая-то конференция, только косвенно связанная с моей ежедневной работой; и так как я был для организаторов этого мероприятия не слишком важной персоной, то меня поселили не в гостиницу, а в так называемый «домик приезжих», что-то вроде четверосортных гостиничных комнатусек, но я не роптал, потому что был ко всяким превратностям быта привычен и безразличен, отчасти. Но чему я был искренне рад, так это тому, что дом действительно оказался небольшим, одноэтажным и стоял на окраине города, почти у самого леса. Здесь было красиво, тихо, спокойно, а краткосрочные неудобства с лихвой окупались чудесной природой.

Моё временное жилище было устроено следующим образом: сразу за входной дверью был холл, оформленный в зелёных тонах, тут же, в глухом торце, находилось бюро регистрации; из холла лучами отходило пять коридорчиков, и в каждом из них находилось две комнаты — по одной справа и слева. В крошечной моей комнатке стояла узкая деревянная койка, покрытая светло-зеленым покрывалом, в изголовье которой висело зелёное двухрожковое бра; напротив кровати стояло крошечное неудобное кресло с грязно-зелёной обивкой и рядом — торшер с большим и зелёным, опять же, плафоном; за окном моим виден был бор и цвет моего жилища таким образом замечательно с ним гармонировал. На этом описание можно закончить, так как всё остальные, то есть гигиенические, удобства этого дома были общими, но уж пять-то дней точно можно было с этим мириться.

Конференция начиналась ещё только завтра, и у меня впереди был день целый свободного времени. Поэтому я пробыл в своём «номере» ровно столько, сколько нужно, чтоб слегка привести себя в божеский вид после дальней дороги, и тут же отправился в город.

Весь день я гулял по старому центру, любовался нарядной средневековой архитектурой и помпезными купеческими особняками позапрошлого века, побыл недолго в крошечной уютной церквушке — наедине со своею душою, далёкой, впрочем, от

бога, побродил по старинному парку, погружённому в осень, подышал незнакомым воздухом, попил незнакомой воды...

Душа моя отдохала после долгого времени постоянных нелепостей, неудач, неурядиц; я был рад, наконец, оказаться вдали ото всех, кто мог меня знать, о чём-то расспрашивать, выражать какие-то чувства, соотнесённые с моим настоящим, прошлым и будущим... Я именно ради этой возможности и оказался за тридевять земель на этом мероприятии, совершенно, для меня бесполезном в действительности.

Уже перед самым вечером, проголодавшись до дрожи, я зашёл в случайный невзрачный ресторанчик, неожиданно вкусно поужинал, выпил вина и теперь был если не счастлив, то по крайней мере не в разладе с собою, а впереди ведь меня ещё ждали целых четыре таких же замечательных дня, и лес, и покой... Это было прекрасно, как сказка и я не собирался упустить ни единой минуты этого праздника.

Когда я возвратился в свой «дом», на улице было уже довольно темно, и начинал понемногу накрапывать дождик. В центральном холле горел аварийный свет, сонная регистраторша на меня взглянула вполглаза и вновь задремала, а лучи коридоров были темны — свет из холла едва достигал их начала. Я, видимо, был немножечко навеселе, ну самую капельку, и пребывал в состоянии упоительной меланхолической эйфории... Наверно, поэтому, почему-то не доставая ключа, я потянул за ручку двери своей комнаты... и дверь отворилась... Я шагнул в совершенную темноту, затворил за собою дверь и не успел сделать и двух шагов, как вдруг услышал:

Скажите, вы всегда без стука входите в чужую комнату?

Я аж вздрогнул от неожиданности, а ироническое контральто продолжило:

Надеюсь, вы не преступник?

— Нет, я Резник, — поспешно ответил я, и мой глупый ответ заставил голос негромко и язвительно рассмеяться, и я тоже почему-то рассмеялся в ответ.

— Тогда оставайтесь, Резник, стоять возле двери и представьте мне дальше, если это не будет так же страшно, — непререкаемым и насмешливо-чопорным тоном приказал невидимый ментор. Я повиновался, представился, после чего наступила вдруг долгая пауза; казалось, моя собеседница задремала, но я не решался ни уйти, ни приблизиться к ней, ждал безропотно, что будет дальше... когда голос вдруг ожил и продолжил беседу так, как будто мы очень давно и коротко очень знакомы:

— Знаешь, у меня сегодня с утра и весь день болит голова. А теперь ты пришёл и вдруг голова у меня болеть перестала. Побудь немного со мной, хорошо? Только, пожалуйста, не подходи, стой там; мне кажется, что я плохо выгляжу, и я не хочу, чтобы ты меня видел. Пожалуйста.

Голос был нежный, низкий, с тёплыми обертонами, серебристыми модуляциями... Это был колдовской, удивительный, неопишуемый голос, голос гурии и прокурора, королевы и ментора... Голос всё время менялся, переливался многочисленными оттенками, он был глубоким, как осень, помпезным, как купеческий особняк, колким, как холодные капли дождя, уютным, как старый заброшенный сад... Это был голос настоящей сирены, и я мгновенно попал в его прочные сети, в его нежную власть, я стал пленником этого голоса, я влюбился безумно с первого звука, чего со мной никогда в жизни не было, не было никогда даже с первого взгляда...

В маленькой комнатке витал тонкий запах каких-то чудесных духов, а в моей голове витал лёгкий винный туман; всё это вместе дразнило воображение, рисовало какие-то странные образы — бесплотные, неосязаемые, описанию не поддающиеся... А сирена вдруг стихла и с нежной доверчивостью ребёнка еле слышно сказала:

— Мне бы хотелось на тебя посмотреть. Ты такой лёгкий весь, праздничный... Наверное, мы бы друг другу понравились... Я не знаю... Мне так странно и тихо оттого, что ты рядом... Так странно и тихо... Но только видеться нам сегодня нельзя... Я чувствую, что сегодня нельзя, невозможно...

— Мне тоже, — сказал я, искренне и с надеждой, когда она смолкла, — хотелось бы вас увидеть. Может быть, вы разрешите мне всё-таки сесть рядом в кресло?

— Нет, оставайся у двери. Мне почему-то кажется, что этого тоже делать не надо, что это тоже нельзя, а я доверяю всегда своей интуиции. Только не обижайся. Мы увидимся завтра. Наверное... Знаешь, я сегодня весь день чего-то ждала. А теперь ты пришёл, такой близкий, нежный, умиротворённый... Наверное, от ожидания голова и болела, оттого теперь и прошла...

После всей этой мистики и, несмотря на решительный и непреклонный запрет, мне ещё больше хотелось её рассмотреть; я вытягивал шею, старался наклониться как можно дальше, но всё было тщетно, я видел только смутное очертание женщины, лежащей одетой поверх одеяла, густую копну волос, размётанную по подушке, блеск тёмных глаз иногда, когда она слегка приподнимала голову, я мог видеть ещё невнятный абрис лица в темноте, — только всё это не давало ни малейшей возможности представить что-либо конкретно...

А моя собеседница вновь затихла и неподвижно лежала, ни слова не произнося, и слышен был только дождь, неожиданно быстро набравший полную силу, да ветер, гудящий в ветвях, и остервенело швыряющий в окна струи дождя.

Внезапно она поднялась на кровати, низко наклонив к груди голову, так что густая копна волос упала на одеяло и, не повышая голоса, приказала отрешённо и властно:

— А сейчас уходи. Мы увидимся завтра. Я очень устала и теперь хочу быть одна. Это не вычурно, извини, мне отчего-то снова становится не по себе. Уходи... — и застыла, как в сомнамбулическом трансе...

Я потом ещё долго лежал без сна в своей комнате и слово за словом, интонацию за интонацией перебирал в своей памяти всё, что произошло, ощущая с безумным восторгом, как жжёт меня изнутри ожидание утра...

Назавтра с утра сложилось всё суматошно, неправильно, непоправимо... За ночь во мне родился непонятный какой-то страх, какая-то робость, и я смалодушничал, решил, что успею, что не стану искать её утром, поехал зачем-то в зал заседаний, но не досидел и вернулся, и не раздеваясь кинулся во вчерашнюю комнату, ведь вчера я вошёл во второй коридорчик не справа, а слева и теперь совершенно точно знал, куда мне надо идти...

В её номере прибиралась пожилая толстая горничная, и он выглядел абсолютно пустым, не жилым. Я как-то сразу и бесповоротно всё понял, но всё же, на всякий случай, стал расспрашивать про вчерашнюю гостью: где она или где может быть. Я нервничал очень сильно и, должно быть, расспрашивал с излишним напором, потому что горничная вдруг презрительно уставилась на меня и отвечала с тупым и преувеличенным равнодушием, что жилища с утра ещё съехала, а куда, так это ей не доложили, может, в какой из гостиниц получше номер нашёлся, почём она знает, — и стала с угрюмым усердием прибираться себе дальше, ко мне повернувшись спиной.

Я решил, что моя вчерашняя собеседница, как и я, приехала на конференцию, и тщетно искал её в залах, и не смог узнать её имя в бюро регистрации, и прислушивался ко всем голосам всех женщин подряд, и в городе тоже, и в транспорте, и на вокзале... старался все время оказаться поближе к любому скоплению болтающих дам.

На меня даже стали коситься, но мне было на всё и на всех наплевать, мне так нужно было её отыскать, продолжить это внезапное ночное знакомство, услышать, увидеть!..

Я хорошо понимаю, что все это было случайно, как город, как ливень... как сон... и закончилось так потому, что иначе ничем и закончиться не могло... Но я всё никак не забуду удивительный голос и внезапное чувство влюблённости и восторга, и необъяснимого счастья...

Теперь уже редко совсем, только когда до безумия долго мучит бессонница, а за окнами, как и в тот вечер, остервенело воеет ветер и бьётся насмерть с дождём, я вдруг совершенно отчётливо слышу в глухой темноте волшебное это, серебряное контральто, слышу каждое слово, произнесённое ею в тот вечер, и так холодно мне потом, и так... безнадежно.

МЕЧТА АНЕЧКИ ШТЕЙН

Давно уже не было черносотенцев, лагерей и газовых камер. Даже безродные космополиты и убийцы в белых халатах стали как-то подзабываться. То, что царский закон о черте оседлости сменила подзаконная процентная норма, конечно же, раздражало, угнетало, нервировало, но никакого сугубого страха на живущих под нормой не наводило и в дрожь не вгоняло. Так что жизнь была в общем-то более или менее обыкновенной.

Коллективные опыт и разум, несмотря ни на что, говорили им, что обстоятельства могут изменяться стремительно и необратимо, и тогда уцелеть удаётся тем только, кто не на виду, тем только, кто не привлекает к себе внимание двуногого стада; поэтому — при любых обстоятельствах — нужно стараться быть неразличимым в толпе, а ещё лучше — попытаться стать совершенно невидимым.

Три поколения женщин, потерявших в лихолетьях минувшего времени драгоценных своих мужчин и многих, и многих близких, теперь, изо всех своих слабых сил, защищали единственное своё продолжение: старались растить дочку, внучку и правнучку до того неприметной, что иногда (до поры) сами сомневались в реальности Анечкиного существования.

Девочка даже знания свои в школе, по их настоянию, выявляла не в полную силу. Впрочем, данные у Анечки от природы были прекрасные, усердие и трудолюбие замечательные, так что троек в табеле никогда не водилось. Нет, гениальными способностями она не обладала, но живой и дотошный ум в сочетании с прилежанием и упорством давали очень и очень хорошие результаты.

Тем не менее, свойства серой, замкнутой мышшки-тихони отлично работали; и если б её одноклассников спросили однажды, как Анечка учится и что из себя представляет, то большинство из них вряд ли смогло бы что-то внятно ответить.

Один только раз серый панцирь, после долгих и трудных домашних сомнений, на миг решились разрушить, но в страшной панике снова надвинули на улитку непроницаемый домик, и ко всеобщей семейной радости всё тогда всеми благополучно и быстро забылось.

А случилось так, что под Новый год их восьмой класс пригласили... в театр! На «Золушку». Анечка никогда ещё на такое грандиозное представление не попадала. Ну, утренник в детском садике, ну, провинциальный театрик где-нибудь в доме отдыха, ну... Нет, огромный роскошный театр совершенно на всё это не походил. Ни на йоту!

Это был праздник такого масштаба, что пятнадцатилетней девочке, прожившей всю свою жизнь в скорлупе, под домашним арестом, под неусыпным надзором... Нет, никакими словами не передать волнение праздничное, немислимое, необыкновенное... Всё, даже библиотека, на задний план отступило, всё растворилось в волнуящем предвкушении чуда, предвкушении счастья. С ней творилось такое, такое — что и маме и бабушке передалось (прабабушки уже не было). И тогда вдруг, в нарушение всех и всяческих правил, решили, что пошлют девочке ПЛАТЬЕ. В ателье, настоящее, праздничное, о каком Анечка после ужасных коричневых (бес)форменных своих балахонов даже и мечтать не могла.

И пошли! Голубое, кримпленовое, с воротничком-стойкой, удлинённой немного талией, нескромной самую капельку юбкой, открывающей стройные ножки; а к нему купили ещё красные — чешского стекла — бусы и вишнёвые туфли-лодочки на каблучке. А волосы, обыкновенно закрученные в уродливый пук, распустили, и теперь они широкой ночью рекой струились на плечи.

Господи, что это был за день, что это был за чудесный, поразительный, неопишувемый день! Смуглые щёки девочки от немислимого волнения тихо атели, тёмные глаза лучились... Она вся была свет и порыв — чистый, безбрежный и бездонный восторг. Эту разительную, просто невероятную перемену не только учителя, но и толстокожие одноклассники с одноклассницами углядели: шептались, пожимали плечами, глазки закатывали, головами крутили... А Анечка ото всех держалась поодаль, и ни с кем совершенно, совершенно ни с кем не общалась. И не только из-за всегдашней своей привычки держаться уединённо, но и потому, что никого, ничего не видела, не замечала: все, все чувства на свете заполнил, затопил удивительный, невиданный праздник...

Потом были длинные зимние каникулы, а после них Анечка появилась в классе во всегдашней своей коричневой невзрачной хламиде, во всегдашнем своём тусклом, непримечательном облике; время и устойчивый стереотип изо всех голов Анечкин странный праздничный образ вытеснили, и никто в классе о чудесном её превращении больше даже не вспомнил. И всё снова потекло рутинным своим чередом.

Наверно, всё было бы в будущем так, как трём женщинам и мечталось — тихо и мирно. Анечка выучилась бы, может быть, вышла бы замуж, может быть, детки бы появились, может быть... Не суждено всему этому было случиться. Случайность, нелепость, дикая непредсказуемость бытия... Знать бы, где падать!

Не надо, не обвиняйте в банальности: просто не знаю, как выразить свои чувства, как объяснить всё, что дальше произошло.

Книги всегда были Анечке в радость — ведь такая отдушина в одинокой и тусклой обыденности. К тому же самая лучшая в городе детская библиотека находилась совсем-совсем рядом, даже дорогу переходить не приходилось. Поэтому её с пятого класса раз в две недели отпускали одну взять новые книги — одну, представляете!

Впрочем, бабушка ещё долго страшилась этих самостоятельных библиотечных походов. Ей всё казалось, что девочка может заблудиться или — ужасно даже

представить — как-нибудь потеряется. Поэтому Анечке в карман платья, в пальто и сумку укладывались записки с адресом, именем и фамилией, а на шею, на прочном чёрном шнура — на всякий пожарный — вешался ключ от квартиры. Анечка этот ключ на шею терпеть не могла! Только переступала порог — снимала немедленно, и — в знак протеста — принималась вертеть на пальце — как будто бы это пропеллер, а она вертолёт — и вприпрыжку стремглав летела в библиотеку.

Это стало традицией, ритуалом, постоянной чайной радостью. Она всегда долго и обстоятельно бродила среди стеллажей, наслаждалась таинственной, завораживающей тишиной огромного абонементного зала, удивительным, ни на что не похожим запахом библиотеки, подходила к знакомым авторам, здоровалась, трогала книги, брала какие-то в руки, листала, вглядывалась и вслушивалась в чужие имена и названия... И, наконец, выбирала! А потом в предвкушении счастья опрометью неслась домой, забиралась тут же с ногами в широкое старое кресло и перед тем, как начать читать, ещё долго листала страницы, стараясь представить, что ждёт её впереди.

Однажды, в начале девятого класса, к ней в руки попала замечательная трилогия Юрия Германа. Она не читала, залпом глотала каждую новую книгу, жила эти дни, как в тумане, всей душою, всем сердцем — совершенно всей сутью — переселяясь в иную, отважную и бескомпромиссную жизнь...

Анечка вдруг повзрослела окончательно и бесповоротно, обрела духовный, душевный стержень, и мечта стать врачом с этих пор овладела ею полностью, сделалась целью жизни, её безраздельным и непререкаемым смыслом. Она стала читать всё подряд о врачах, болезнях, истории медицины, борьбе с чумой и холерой... С беспредельным упорством штудировала биологию, химию, физику — всё, что давало возможность поступить в медицинский вуз. Именно в медицинский, потому что ни о каких прочих профессиях с этих пор речи быть не могло. Правда, как-то раз бабушка попыталась Анечку от этой ужасной, совершенно лишённой в их положении всякого смысла, блажи отговорить, но, к своему величайшему изумлению, получила отпор — мягкий, но такой по-взрослому категорический, что больше об этом даже и не заикалась.

Анечка так же, как раньше, жила отстранённо от всех, совершенно одна. Но это была теперь отстранённость абсолютно иного свойства — глубочайшая сосредоточенность зрелой личности, поглощённой всецело достижением цели. Учителя только головами удивлённо качали, видя в девочке столь разительную, не понятно как и отчего произошедшую перемену. Она постепенно становилась гордостью класса, но, видимо, что было более чем очевидно, изменение статуса Анечку ни в малейшей степени не волновало. У неё просто ни времени, ни желания не было задумываться о всяких несущественных глупостях. Может, поэтому одноклассники совершенно спокойно отнеслись к такой перемене, и завистников, зложелателей в классе у Анечки не появилось.

Два года, насыщенные всепоглощающей, непрерывной учёбой, пролетели со скоростью невероятной, чудовищной; и до цели теперь оставались всего только вступительные экзамены. Всего только...

В медицинский таким, как Анечка, вход был заказан — категорически. Стопроцентный провал — гарантирован. Нет, исключения, разумеется, в трёх случаях делали: за огромные деньги, по высокому благу и, изредка, — в случае исключительных, экстраординарных способностей. Но так, к слову, и в царской России происходило!

Денег и блата в Анечкиной семье отроду не имелось, а исключительным даром, как я уже говорил, Анечка, к сожалению, не обладала. Да, была очень способной, трудолюбивой, упорной, но — не гениальной. Впрочем, врач бы, наверное, из неё получился отличный, такой, на каких вся практическая медицина только и держится, но...

Но на беду свою, Анечка выросла интровертом типичнейшим, абсолютным. Никаких качеств воительницы или других каких, дающих возможность отстаивать жёстко и безоглядно свою правоту, давать бой и отпор любому, кто на них посягнёт — не было и в помине, да и быть не могло. Потому что не приходилось ей до сих пор достоинство своё защищать и отстаивать. Повода не было. Так что опыта — ни малейшего.

Вот почему экзамен у Анечки, проходивший по отработанному и неоднократно разыгранному сценарию, закончился тем, чем и должен был — по определению.

Проклятая физика! Чаще всего на ней именно — шельмованием всяким, да подковырками — и заваливали. Впрочем, в её случае обошлись много проще — обыкновенным театром.

Экзаменаторов было двое: жёлчный вертлявый дяденька лет пятидесяти и довольно молодой ещё человек, но уже быстро лысеющий, полноватый и вялый. Они орудовали безукоризненным, отлично спетым тандемом. Не успевала Анечка открыть рот и начать отвечать на вопрос, как парочка принималась громко беседовать между собой о каких-то своих насущных институтских проблемах. Но только Анечка от смущения замолкала, как упитанный ленивым, расслабленным голосом осведомлялся:

— Забыли? Не знаете? Может, перейдёте к следующему вопросу?

Анечка собиралась, снова начинала рассказывать... и громкая дружеская беседа немедленно возобновлялась. Так несколько раз повторялось, пока Анечку окончательно не выбили из колеи: на глазах у девочки закипели слёзы, губы дрогнули, и стало понятно, что иезуитская цель частично достигнута — она вот-вот разрыдается. Тогда жёлчный вдруг подхватился, подошёл к окну, раскрыл настежь и стал что-то там в институтском дворе выглядывать. Анечка, разумеется, сидела в ожидании молча, а дядечка-экзаменатор, наглядевшись в окно, закурил и, пуская на улицу дым, громко осведомился:

— Так будете отвечать, или как?

Анечка промокнула глаза, изо всех сил сосредоточилась... Но не успела она и десятка слов произнести, как от окна раздался начальственный окрик:

— Вы что, не ели сегодня? Я вас совершенно не слышу! Громче, наконец, можно?! Громче Анечка уже не могла. Нервная спазма цепкой рукой сжала горло, и она больше слова вымолвить была не в состоянии.

Видя, что тактика принесла результат — окончательный и бесповоротный, жёлчный ублюдок выбросил сигарету, оторвался от подоконника, взял в руки Анечкину экзаменационную книжку, с презрительной миной поставил «три» и расписался, вялый тоже закорючку поставил и со словами:

— Все. Можно идти. Скажите спасибо за «тройку». — швырнул её Анечке. А потом издеватели снова заговорили о чём-то своём.

Это был полный провал. При таком бешеном конкурсе поступить с тройкой нечего было и думать. Анечка горько проплакала до утра, утром ушла из дома и где-то бродила до вечера, потом, тупо уставившись в стену, долго сидела на кровати,

раскачиваясь, как маятник, пока от неимоверной физической и душевной усталости не упала головой на подушку и не забылась мёртвым, оглушающим сном.

На сочинение — последний экзамен — Анечка не пошла, а через несколько дней устроилась на работу — санитаркой в городскую больницу, совсем рядом с домом. Она стала мыть полы в палатах и коридорах, убирать туалеты, выносить судна и утки — выполнять всю самую чёрную и тупую работу, какая только была. Ещё поступила на вечерние курсы — подготовительные — при мединституте и училась, училась...

Санитарки местные — всё сплошь тётки из пригородов — поначалу, как водится, пытались ей дедовщину устроить, но потом, видя Анечкино исключительное трудолюбие и упорство, характер покладистый, добрый — защищать даже стали. И сестра-хозяйка — начальница — при поддержке всех прочих — с парочкой сущих мерзавок разобралась моментально, когда те всерьёз стали Анечку доставать, подставлять, да работу свою на неё переваливать.

А незадолго до нового года произошло событие удивительное, совершенно неправдоподобное: её вдруг после работы стал поджидать симпатичный молодой человек — застенчивый и молчаливый. Анечка даже представить себе не могла, откуда кавалер этот взялся. Он в любую погоду по несколько раз в неделю встречал её после работы и потом молча шёл следом до самого дома.

Её мучило такое ужасное любопытство, что однажды она позволила таинственному поклоннику приблизиться и заговорить; он оказался фельдшером со скорой помощи — и тайна рассеялась. Впрочем, она всё равно его появлением удивлена была необычайно; так сильно, что даже несколько раз согласилась прийти на свидание. Только он Анечке, совсем не умевшей общаться, погружённой в себя на немислимую глубину, не понравился, показался тогда, к сожалению, совершенно не интересным, да и времени эти шатания отнимали сверх всякой меры.

Так они и расстались по её настоянию, хотя у неё ещё долго при воспоминании о молодом человеке щёки неожиданно воспалялись, на губы улыбка слабая набегала, сердце вздрагивало тихонько... И странно так на душе становилось. И если б он как-нибудь объявился вдруг снова... Но он не объявился.

Год пролетел очень быстро, почти бессобытийно. Разве только неожиданное ухаживание симпатичного фельдшера... А так — ничего больше — работа, учёба.

На очередных испытаниях Анечка опять провалилась. Один балл только не добрала.

Как лунатик — ничего не видя, не слыша — дотащилась до дома, рухнула на пол в прихожей и захлебнулась, забилась в неукротимой, тяжелейшей истерике. Такой, что, объятая смертным ужасом, бабушка еле смогла набрать номер скорой.

Ей укол сделали, таблетки выписали и даже больничный на три дня дали. А через три дня она снова пошла на работу в больницу — с опухшим, дрожащим лицом, закушенными губами — полуживая, такая... Народ говорит, — краше в гроб кладут. Даже видавший виды больничный люд взволновался.

На следующий день зав. отделением — умный, дошлый, и Крым и Рим прошедший мужик, которого за глаза иначе, как «дед Петро», в больнице и не называли, — вызвал

Анечку в свой кабинет, усадил, налил ей горячего чаю и осторожно, чтоб беднягу несчастную ещё больше не напугать, стал с нею беседовать:

— Что, Анечка, не поступила?

Я знаю, что два раза уже.

Да не убивайся ты так. Если в лоб не выходит, в обход всегда надо идти.

Не бывает безвыходных положений. Ты эту затею с институтом попробуй оставить — на время.

Нет, нет, ты сиди, не спеши, дослушай хотя бы. Я вот что хочу предложить: у меня жена в медицинском училище преподаёт, я вчера с ней поговорил, она все учебники, все методички, всё, в общем, что тебе будет нужно, принесёт, и на следующий год попробуешь не в институт, а в училище к ним поступать. Ну, получишь сначала среднее образование — не беда, совсем близко к профессии подойдёшь, да и лучше это, чем тряпкой махать, — а там видно будет. Согласна?

Ну что ты молчишь? Да, чуть не забыл совсем. У меня для тебя ещё одна новость есть. Кастелянша в конце ноября уходит за внуком смотреть. Я с главным переговорил, ты можешь, если согласна, занять её место. Времени у тебя на учёбу будет побольше, да и работа полегче.

Ну что ты, не плачь, ну, не плачь. Перемелется, девонька, всё, вот увидишь, всё перемелется.

В училище Анечка через год поступила. Бабушка всего несколько месяцев до события этого не дождала. Поэтому они с мамой вдвоём свой маленький праздник отметили: стол накрыли, вина по капельке выпили, поплакали на плече друг у дружки и в кино на последний сеанс сходили.

И время дальше пошло. Анечка стала учиться и в больнице своей по вечерам подрабатывать; и как дед Петро её от затеи этой не отговаривал, она на своём настояла, потому что представить себе не могла, что из-за училища, хоть и на время, может расстаться с больницей. Потому что учёба в училище — была всего только уступкой непреодолимым, безжалостным обстоятельствам, и никак по-другому она это своё поступление не рассматривала.

Странные это были три года. Анечку ни на день не покидало ужасное ощущение бездарности, промежуточности, компромиссности происходящего. Особенно в первый год учёбы, когда она не жила, собственно, а существовала в непрерывном, неутолимом ожидании того времени, когда снова можно будет попробовать исполнить мечту. У неё даже несколько раз в этот год случались истерики, но не сильные: их быстро купировали и последствий особенных они, кажется, не имели.

Даже то, что к концу учёбы её уже совершенно спокойно оставляли в больнице дежурной сестрой, удовольствия, удовлетворения не приносило. Стремление стать врачом — и только врачом — оказалось таким всесильным, так захватывающим всё существо, что остальные желания казались немислимо мизерными, отходили не на второй, а на третий и даже четвёртый план.

Получить красный диплом, дающий — пусть и эфемерные — льготы, не вышло. Работа, учёба, домашние хлопоты, потому что мама вдруг быстро стала сдавать... Не получилось. Ещё год после училища она отработала в горбольнице, пропадая над учебниками целыми вечерами. Чувствовала она себя плохо. Внутри постоянно что-то противно дрожало от неуверенности и напряжения. Она понимала отчётливо, что ей нужен отдых, что нужна передышка, что нужно набраться сил, успокоиться... Но всё

это было только теоретически. А на самом деле она не могла уже остановиться. Мечта не давала ей жить, не давала дышать, повелевала судьбой!..

Её провалили. Снова. Такой ужасающей перегрузки психика выдержать оказалась не в состоянии. Она долго лежала в больнице; у неё были судороги; начинались галлюцинации; окружающих она не узнавала, впадала в истерику... Вылечить не удалось.

Ей опять, как когда-то в детстве, в карманы кладут большие бумажки с адресом и фамилией, и на шею вешают ключ от квартиры на чёрном шнурке. Ключ, как и в детстве, она ужасно не любит и снимает при первой возможности, чтобы крутить как пропеллер.

Целыми днями она безучастно, бесцельно бродит по всему городу, крутит на пальце ключ и улыбается. Иногда подходит к кому-нибудь и заговаривает. Обязательно спросит, здоров ли, нет ли температуры и, не дожидаясь ответа, идёт себе дальше.

Она бродит по городу, улыбается безмятежно и крутит на пальце квартирный ключ на шнурке, и никакое паскудство двуногих больше ей не угрожает.

НЕПРИЛИЧНАЯ ИСТОРИЯ

Она пришла на приём без записи, перед самым закрытием, но ей повезло, народа в тот день было мало, а к вечеру приёмная и вообще опустела, так что я мог спокойно принять её без формальностей.

Моя неплановая пациентка была симпатичной изящной брюнеткой с крупным красивым ртом и алебастрово-белой кожей, вот только выражение лица у неё было злым и подавленным, что сильно портило внешнее впечатление. Впрочем, я понимал что проблемы, так его изменившие, вскоре выяснятся. Иначе зачем бы она у меня в этот поздний час появилась?

Пока я так размышлял, посетительница молча уселась в кресло и жёстко, даже презрительно уставилась мне в глаза. Ну и я тоже молчал: время идёт, оплачено, спешить некуда, тем более передо мной сидела красивая, сексапильная дама примерно моего возраста, смотреть на которую, несмотря на её жёлчную мину, доставляло настоящее удовольствие.

Я отчётливо видел, что она внутри себя что-то трудно решает, потому что и щеки, и шея брюнетки сначала пошли некрасивыми красными пятнами, потом лицо стало пугающе бледным и, напоследок окинув меня окончательным уничтожающим взглядом, визави моя презрительно выдавила:

— У меня диарея.

Я мысленно иронично улыбнулся в свой адрес, так как считаю себя недурственным физиономистом, а в приёмной мне показалось, что женщина должна быть умна. Поэтому, раздосадованный своею оплошностью, я небрежно и едко ответил:

— Тогда вы не по адресу.

— По адресу, — заявила брюнетка презрительно и надменно, — по адресу, вы что, меня дурой считаете?

— Да нет, — лукавил я, — ничего такого я не считаю. Просто ваше заявление о диарее в моём кабинете звучит несколько странно. Но может, есть что-то ещё, о чём бы вы хотели рассказать мне как специалисту, тогда говорите, а не ходите вокруг да

около. И если уж речь об уме зашла, то тогда вы напрасно пытаетесь получить у меня гастроэнтерологическую консультацию.

Я почему-то неожиданно разозлился. Может, тон её и надменное поведение на меня так подействовали, может, как любому мужчине, неприятно было явное пренебрежение довольно красивой женщины... Вообще-то я, как вы понимаете, должен и умею себя контролировать, но тут неизвестно с чего, сорвался. Впрочем, она на мой саркастический тон довольно парадоксально отреагировала: расслабилась, взяла себя в руки, свободно откинулась в кресле и вдруг рассмеялась пустым, невесёлым смехом:

— Ладно, не злитесь. Вижу, задела вас. Я постараюсь сдерживаться. Всё, конечно же, расскажу откровенно, если вы меня торопить не станете. Я, чтоб получить вашу помощь, приехала из другого города, потому что у себя дома никому бы в жизни довериться не решилась. А здесь — ни единого шанса, что столкнусь с кем-нибудь из знакомых.

Очень сложно начать. Унизительно. Я не привыкла... Но, кажется, я почти начала и самое отвратительное уже рассказала. Теперь всё по порядку.

Меня зовут Гителе, что значит «хорошая». Даже по имени моему вы можете догадаться, что мои дорогие родители приверженцы древних еврейских традиций. В этих традициях, к сожалению, всю жизнь меня и воспитывали. Не вполне получилось, но, видимо, воспитание их, как бомба с замедленным действием, во мне притаилось, и в нужное время внезапно отлично сработало — меня, вопреки моей воле, выдали замуж. Что вы улыбнулись? Да, сегодня не средневековье, но так в самом деле!

Я была поздним-поздним ребёнком. Мне — тридцать семь, а маме семьдесят девять недавно исполнилось, папе — восемьдесят четыре. Они добрые у меня, простые, несколько патриархальные, набожные, поженились всего за полгода до того, как мама неожиданно забеременела, но, как вы понимаете, ни о каком медицинском вмешательстве речи быть не могло. Вот так я и появилась.

Однако, несмотря на ветхозаветное воспитание, я почему-то выросла аномальной, ни во что, кроме науки, не верящей, упрямой и независимой (теперь понимаю, что всё это относительно). Училась всегда с удовольствием. Закончила биофак, кандидатскую по белкам защитила. Делами личного свойства заниматься мне было некогда. Да и какого-либо желания устроить их как-то — тоже не появлялось. Так и оставалась одна до недавнего времени. Даже подруг настоящих никогда не водилось. Приятельские отношения с особями обоих полов подходили как нельзя лучше. Нет, ухажёры время от времени появлялись, конечно, но не на долго. Ни в ком я, кроме родителей, по-настоящему никогда не нуждалась, одиночество не тяготило нисколько, независимость устраивала абсолютно. Честное слово. А родители, может, это возраст их к этому подтолкнул, ни с того ни с сего моей девственностью озаботились, без меня мою личную жизнь решили улаживать — жениха, на беду мою, отыскивали.

В их каком-то талмуде записано: «Женщине лучше терпеть несчастливый брак, чем оставаться незамужней». Они мне эту цитату однажды в качестве ультиматума и предъявили. Я их ужасно люблю, берегу, жалею. Видела, что мама последнее время плачет часто украдкой, что у папы сердце прихватывает... Этим они меня и сломали, как соплячку какую-то уговорили и — без любви, без желания, без необходимости — выдали замуж. Уже целых два месяца как! Нет, он не косой, не кривой — обыкновенный. Нормальный мужчина. Мой ровесник. С образованием. В общем, ничего такого особенного. Лишь один недостаток — мне чужой, безразличный, напрочь не нужный.

Дальше совершенно неприличная история начинается. Извините заранее. Очень надеюсь, что больше — никогда, никому — рассказывать её не придётся.

Это в первый же раз случилось! Стоило нам после свадебной вечеринки на брачном ложе улечься, меня как скрутило... Я понеслась в туалет и присидела там чуть не час целый. Потом вернулась, куда деваться, багровая от стыда, в постель к новоиспечённому мужу, свернулась калачиком на своём краю и лежала, как мышь, боясь пошевелиться, пока, перед утром уже, в совершенно мертвецкий сон не провалилась.

Он в ту ночь, слава богу, меня, после позорища этого, не домогался. Оказался, должно быть, достаточно умным и интеллигентным. А может, решил, что ему втихаря товар с изъяном подсунили. Как вы понимаете, я подробности не выясняла.

Почти две недели стыдобище это всякий раз повторялось, едва мы на супружеском ложе оказывались. Врозь теперь спим. Я себе раскладушку поставила.

Он однажды уже от меня уходил. Возвратился. Но с той ночи ко мне даже пальцем не прикоснулся, слова доброго не сказал. Если честно, то мы с ним и вообще почти не разговариваем. Ему после всех этих дел, наверно, противно со мной. Я себя на его место ставлю... Кошмар.

Да, за последний месяц я ещё несколько раз — для проверки — пыталась лечь с ним в постель — с тем же туалетным успехом. Последний позорный провал был за несколько дней до отъезда. Представьте, что значит такое два месяца кряду! Так в девицах замужних до сих пор и хожу. Смешно, правда?

Я понимаю, что у меня с психикой что-то. Но взять себя в руки, перебороть этот ужас проносный сама — оказалась не в состоянии. И что делать — не знаю! Вот, к вам и пришла. Теперь ваша очередь.

От невыносимой душевной боли лицо девушки исказилось и она разрыдалась в голос, крупно вздрагивая всем телом.

Мне так жалко сделалось эту странную, чудовищно закомплексованную гордячку... Я встал, подошёл к её креслу и стал шёпотом, будто маленькую, успокаивать; говорил, что всё, конечно же, поправимо, всё можно перебороть, выход найдётся...

Через какое-то время она смогла взять себя в руки, но потом ещё долго сидела раскачиваясь и время от времени всхлипывая. Наконец, сырость пошла на убыль, пациентка моя распрямилась, всё ещё набегавшие злые слезы окончательно вытерла, подняла ко мне лицо и безысходно так, без всякой надежды, проговорила:

— Попробуйте помочь, пожалуйста. Я до края дошла.

Было уже слишком поздно, чтобы что-то предпринимать конкретно. Но и дольше оставаться здесь, в кабинете, не было смысла. Я понимал, что сейчас её нужно отсюда куда-нибудь вывести, снять напряжение, как-то расслабить...

— Идёмте на улицу, Гителе, — предложил я осторожно. — Подышим воздухом, пообщаемся. Вы успокоитесь. Поверьте, обязательно всё преодолеем. Идёмте?

— Хорошо, — сказала она, не задумавшись ни на секунду, — Идёмте. Я почему-то все время надеялась, что всё сразу решится. Жаль, что откладывается.

Да, если можно, не могли бы вы проводить меня до гостиницы?

— Конечно, — ответил я так же без промедления. — Мы погуляем, а потом я обязательно вас провожу. До завтра вы выспитесь, отдохнёте. Утро вечера... там видно будет. Где вы остановились?

В это позднее зимнее время переулоч, куда мы вышли, был тих и безлюден. Слышался только лёгкий серебряный шорох неспешно летящего снега. Но от этого тишина казалась лишь глубже, таинственней и безбрежней.

Асфальт уже сильно был припорошен, а ветер все гнал и гнал по нему позёмку. Оттого было скользко.

Мы какое-то время шли молча. Ни о чем говорить не хотелось. Я понимал, что душа моей новой знакомой после исповеди нуждалась в покое — потому и не донимал её разговором.

Потом она поскользнулась, ещё раз, упала... Я стал поднимать её, но как-то неловко и мы чуть не упали оба. Она рассердилась сначала, вспыхнула, потом рассмеялась, но смех её и сейчас казался мне горьким, вымученным.

Наконец, мы кое-как обрели равновесие, двинулись снова, но Гителе незамедлительно вновь поскользнулась, машинально крепко ухватила меня под руку — так мы дальше и шли совсем рядом, пока, недалеко от гостиницы, не поравнялись с довольно известным в городе рестораном. В тот же момент двери его отворились, выпуская на улицу хохочущую компанию, а вместе с ней вышел и замечательный, тёплый аромат съестного.

— Вкусно как пахнет, — горько вздохнула моя злосчастная спутница.

— А вы что-нибудь ели сегодня? — спросил я для проформы, конечно же зная ответ.

— Кажется, чай пила в поезде, точно не помню.

Голос у Гителе был равнодушный, опустошённый, но всё равно отчётливо выдавал, что она голодна.

— Знаете что, а давайте зайдём поужинаем. Я тоже проголодался. Да и вам, на сытый желудок, спокойней, может быть, станет. Я знаю здесь несколько фирменных блюд — вкусотища необыкновенная. Соглашайтесь. Будем есть всякие вкусности, и печаль заливать вином.

Она согласилась не сразу, но мне так искренне хотелось уговорить её, что, в конце концов, получилось.

Я думаю, что она не один день не ела, потому что оказалась безудержно, просто зверски голодной. По мере того, как она насыщалась, напряжение и подавленность на глазах сходили на нет. От вина щеки её слегка заалели, появилась улыбка — нормальная, обаятельная... С каждой минутой Гителе становилась всё прелестней, всё неотразимей. Я откровенно на неё засмотрелся... Она почти тут же это заметила, вспыхнула жарким сердитым пламенем:

— Что вы так смотрите?

— Извините, я не хотел вас обидеть. Просто люблюсь — вы, если не сердитесь, очень красивая, — ответил я осторожно.

— Вы неприлично смотрите. А что, правда?

— Правда, красивая. Я бы хотел пригласить вас потанцевать, но никак не решаюсь. Согласитесь?

— Вы меня отвлекаете или... соблазняетесь? — и Гителе рассмеялась звонко, свободно и обольстительно. И была она в этот момент настоящей красавицей.

— Да нет, — растерялся я даже от такого негаданного предположения, — мне просто приятно проводить вечер с красивой женщиной. А вы как спичка всё время, как пироксилин. Вот я и...

— А вы соблазняйте, — с дерзкой отвагой, продолжая смеяться, заявила Гителе. — Если не испугаетесь!

Мы проснулись в её гостиничном номере, крепко обнявшись.

— Что, уже всё, — подняла на меня сонно-лукавые глаза Гителе.

Как-то так колко, даже насмешливо она это спросила, вроде как в том, произошло ли что, сомневалась. Так неловко, так даже обидно мне сделалось, что я не выдержал и совершенно нахально ответил:

— Нет, почему же, повторение — мать учения. Закреплять будем?

— Дурак, — сказала Гителе — теперь уже с замечательной, на мой мужской взгляд, интонацией и совершенно очаровательно покраснела... но тотчас уткнулась мне в грудь и неожиданно так безутешно, так беззащитно расплакалась, что я не удержался и стал целовать её, целовать, целовать, целовать — до безумия, до бесконечности...

Мы с Гителе почти целый год уже вместе, и у меня даже тени мысли нет расстаться. Жаль лишь, что замуж идти она ни в какую не соглашается. В ней с тех обратительных пор поселилось непонятное мне омерзение к ЗАГСу и всему, что с ним связано. Ладно, не вечер; она последнее время стала на малышей повсюду заглядываться... Вот тогда и посмотрим.

СОМНЕНИЕ

Одно время я просто не вылезал из командировок. Наездился до того, что жена моя первая, когда я в очередную командировку уехал, собрала вещички свои, да к родителям и воротилась. А перед этим чуть не из-за каждой поездки скандалы в доме стояли такие, что не очень-то я и расстроился, когда меня бросили.

Ну, а совсем перед тем, как второй раз жениться и с кочевой своей жизнью насовсем распрощаться, попал я осенней порой в старинный небольшой городок, недалеко от границы. К сожалению, время ещё было такое, когда за билетами, куда бы ты ни ехал, в диких очередях приходилось выстаивать, да и достоявшимся тоже никто гарантии не давал, что удастся купить билет на нужное время и направление. Однажды пришлось мне в Москву из Уфы добираться через Ташкент и Адлер. Главбух чуть с ума не сошёл, когда я билеты выложил.

Так вот и получилось в тот раз, что уехать пришлось на день раньше, потому что мне на испытательном полигоне непременно нужно было быть вовремя.

Ну, приехал... Город чужой, времени свободного — пруд пруди, — самое то, что нужно, замечательно просто. А город открылся уютный, красивый, зелёный — необыкновенно. Я наслаждался чудесной оказией, и бродил, бродил — никого ни о чем не спрашивая — до бесконечности. Наконец, незадолго до вечера, забрёл на окраину и очутился перед высокой стальной оградой с великолепными коваными воротами: и диковинные животные на них были, и причудливые цветы и растения... Не ворота, а кузнечный шедевр. Створки стояли открытые настежь, и за ними хорошо виден был белый большой особняк с портиком и колоннами, а дальше, за подъездной аллеей, бесконечно тянулся парк — и ни единого человека нигде; и мне вдруг ужасно захотелось прогуляться по парку: отчего-то подумалось, что он должен воротам замечательным по красоте соответствовать. Подумано — сделано. Приблизиться к особняку я не стал: мало ль кто там обитает и чем это для меня может кончиться. Нет, бояться я ничего не боялся, просто приключений на свою голову искать не хотелось, не в моём это характере, потому я тут же с главной аллеи свернул и пошёл бродить по дорожкам.

Сад выглядел довольно запущенным. Будто много лет никто ни к чему здесь не прикасался. Но по мне так — даже и лучше, чем когда всё вылизано, как на параде. Природа тогда — будто стерилизованная, дистиллированная — неживая, одним словом, — вроде лица на которм ни родинки, ни ямочки, ни другого симпатичного какого-нибудь изъянца.

А всюду скульптуры разные, фонтаны причудливые, беседки, портики... Только вся эта красота тоже запущенная-заброшенная: скульптуры с отломанными руками-ногами, портики и беседки местами разрушены, в трещинах, фонтаны ползучей гадостью и бурьяном позарастали... И потому ощущение возникало такое, будто время в чудном этом месте тоже немного разрушилось и от этого остановилось.

Бродил я довольно долго, пока, уже на заходе солнца, не вышел к откосу. С откоса видна была широкая, нарядная в свете закатном, речка, через речку — длинный ажурный мост, и за мостом — город, зажигающий первые огоньки. А дорожка, которая к речке вела, упёрлась в высокую и длинную перголу (я потом на даче себе такую же сделал, только, конечно, пониже и покороче). Пергола, увитая лозой дикого винограда, была ярко-красной, будто небеса закатные в ней отражались — красиво необычайно. Как и всё в этом саду, пергола тоже немного разрушилась, но ещё была ничего, не такая, чтобы стоило чего-либо опасаться. Нырнул я в сумеречный коридор и стал спускаться по склону, пока не вышел наружу, к узкому металлическому мостику через ручей. Перешёл — и вижу: большая земляная площадка, окружённая огромными валунами, на другой стороне площадки — скала — могучая, мрачная, с покатою плоской вершиной; а на самой вершине — метрах в трёх-четырёх над землёй, прямо над той дорожкой, по которой только и можно к речке спуститься, уместился полого гигантский обломок: будто чудовищной силой скалу надломило, да кусок отломившийся так на вершине лежать и остался. Казалось, громадный камень лежит непрочно, чудом только, потому что под свежим ветром даже слегка покачивается. Впечатление создавалось такое, что вот-вот глыба рухнет вниз и всё под собою раздавит. И тут показалось мне, а может, померещилось просто в неверном закатном свете, что на скале... вроде как написано что-то, но не по-нашему... Солнце на сизом небе пунцовым светом пылает, от скалы — тень густая клином через всю площадку легла, валуны путь обходной загораживают, и иначе к реке не пройти никак... Можно, конечно, назад повернуть, но мне вдруг втемяшилось, что обязательно надо к реке спуститься, — и от этой опасности мнимой воображение моё вдруг разыгралось, как-то не по себе стало, знобко даже...

— Здравствуйте. Вы кто, извиняюсь, будете?

Я аж вздрогнул от неожиданности, обернулся: передо мной маленький, сухонький старичок стоит, — голову набок склонил, взгляд из под мохнатых седых бровей серьёзный, из солидного глиняного чубука дым в вислые казацкие «вуса» пускает.

Да так, — отвечаю, — приезжий, а здесь как, нельзя посторонним?

Отчего ж таки, можно, стойте, чего путного, может, и выстоите... А с экскурсией утречком — не схотели?

Голос у старичка был жиденький, сильно на женский похожий, но уверенный и не сердитый, и я ни минуты не дёргался, что в чужие палестины забрался.

А я не с экскурсией, я сам по себе, командировочный. Скажите, а что на скале действительно надпись или мне только кажется?

То так, напыс есть, только там на латинском напысано, да суморок, потому не понять.

Нет, по латыни я всё равно бы не прочитал. А что надпись значит?

— Так ты и обозначаешь, отчего вы до камня приближаться не сильно желаете, а здесь утвердились. — Сказал старичок, улыбнувшись и выпустив в небо дымное облако. — Но если желаете, посидим в сторожке моей (караулю я тут), повечеряем разом, чтобы мне одному не так нудно было, а я вам про камень та напыс историю и доложу.

Может, что и совру, а только на бумаге нисколько о том не сохранилось — потому, неписьменный народ обретался.

Жил в давнее время, при крепостном ещё праве, в имении этом пан. Был пан шляхетный, гербовый — куда там... От только за годами имя паново не збереглося.

И всё у того пана имелось: достаток, панна красуня, два паныча-подлетка... Чего ещё надо(?) А только так не бывает, чтоб всё у человека имелось, и ничего ему сверх того не желалось. Вот и пана нашего стало в одночасье корчить оттого, что не ведом он никому — вишь, славы ему приспичило. А откуда ж той славе свалиться, коли пан ленющий был — почище вареника: только его и хватало, чтоб в гости к кому забраться, в карты резаться, горилку трескать, да по чужим бабам да девкам шастать. Так и то сказать, сильно пан девок любил, и немалое их число по округе всей перепортил; так откуда ж в других делах усердию взяться, ежели вся ретивость на девок тех и уходила.

А особо владетеля разбирать стало, когда сосед его першим в этих краях мельницу паровую завёл, и, надо ж такому, почти в то же время приятеля его наближайшего мировым судьёй выбрали.

Совсем пан после того с ума сходить начал — ровно взбесился. Крепака своего за паршивого зайца чуть до смерти не заporол. Панну, по пьяному делу, прибил; так прибил, что она забрала панычей и, не медля, съехала — будто у воду канула.

Ни с того ни с сего запретил бабам, сроду такого не знали, в лес по грибы ходить, да ягоды собирать... В общем — творил чудеса.

Так он чуть не полгода дурил, а бестолку надурившись, собрал свой народец мастеровой, выстроил перед домом и посулил тому, кто что-нибудь разпроэтакое измыслит — этакое, чтоб с ног сшибало, чтоб завидки соседей взяли, и округа галдела как заведённая — вольную тут же выписать и всем его домочадцам в придачу.

На селе — то почти что закон — коваль — мастер наиглавнейший. Оттого у коваля в хате и сошлись погутарить про панску шараду. И раз сошлись, и второй... Да разве ж кто ни с того ни с сего что необычайное измыслить способен? Это ж не табуретку сварганить, это природно человеку тому должно быть.

Вы решётку при входе в сад наш видали? Ну вот с того и начнём.

Сыновей ковалю жинка родить не сподобилась. Произвела на свет четырёх девок, а потом хворобу какую-то заимела, на том продолжение рода ковальского и остановилось, и передать своё мастерство ковалю, вроде бы, некому выходило. Но то только вроде бы, потому как три девки обыкновенных у коваля народилось, а одна, самая старшая, её Настькой звали, была, как и не девка вовсе: роста громадного — выше батьки, лицо грубое, рябое — мужичьё, силища в руках — я ти дам. Хлопцы не то, что любезничать, подходить опасались. Подковы, понятно, Настька не гнула, но когда в ухо залившему зенки охальнику врезала, того чуть не с того света пришлось ворочать. После того ухажёров, даже по пьяному делу, как-то не находилось.

Всё, видать, оттого пошло, что ещё сызмальства наладилась Настька в кузню бегать, отцу подсоблять. И такая в ней страсть обнаружилась к этому делу, такая жилка,

что коваль только головой качал, да руки разводил. А Настька выдумщица уродилась — страшная. Вечно у ней в голове какая-нибудь идея крутилась: всё старалась по-своему измыслить, как-то не так, как все делают; а как выкует вдруг для души какую чудовинку, так её на базаре вмиг оторвут. Часом коваль, шутки ради, как загнёт на ярмарке цену... Куда там, и шутки не понимали, раскошеливались. Потому, когда пан ворота ковать заказал, коваль Настьку в подмастерья свои наладил окончательно и бесповоротно — ото ж она все фигурки на воротах и понапридумывала, а коваль и не возражал, потому понимал — мастер знатный растёт, не ему чета. А когда барин орать вознамерился, что нескончаемо работа та тянется, коваль ему цветы кованые к особняку привёз и положил на пороге — на том ор панский и кончился.

Так-то оно всё замечательно вроде, да только, понятно, несчастливая девке выпала судьба: подружек не водилось у Настьки сроду, парни тоже в компанию не принимали, только и был свет в окошке, что батя да кузница. В перестарках уже ходила.

Так чего учудила! Отпросилась как-то раз в город — на неделю целую, вроде ей захотелось на людей поглядеть да скупиться. А после того, через короткое время, обнаружилось, что Настька после той поездки тяжёлая — ну шуму было! Мать чуть из хаты не выгнала, сёстры брезгливо фыркали, по селу народ ухохатывался, пальцем на девку тыкал. Только коваль тогда дочкин поступок и понял, да пожалел; посадил он её на возок, да, чтоб дураки душу девке не бередили, свёз незнамо куда, где Настька и родила, подалее от взглядов косых, да тупых голов.

Народ языки почесал-почесал, да вскорости и надоело, а пацан видный родился, ковалю и Настьке на долгую радость.

Ну, вот потрошку до камня и дошкандыбали. К той поре, когда пана думки о славе одолевать стали, Настька уже в настоящие ковали вышла. Только ровней себе, из-за бабьей её принадлежности, мастера местные Настьку не признавали, на сходки цеховые звать не сподоблялись; и на этот раз так затевалось. Но только тут не в меру серьёзно всё выходило, не до фанаберии. Пришлось-таки кузнечиху позвать, чтоб и она себе голову над панской задачкой ломала.

Первый раз от задумки Настасьиной мужика аж покатались, затюкивать бабу стали, а только Настасью тем с толку не сбить было, не тот заквас, не тот норов. Дождалась она, когда все отзубоскалятся, и давай, вместо насмешек, помощи ихней просить, а тут и батька её, как положено, голос свой поднял, давайте, говорит, разбираться, а насмешки строить — немудрёная штука; так дело и двинулось.

Когда всё до мелочи обмозговали, собрались мастеровые гуртом и двинулись, вместе со старостой, к пану. Позначили в общих чертах задумку, да и стали просить, чтобы позволил пан всей деревней на работу ту навалиться — не осилить иначе, а если что путное из затеи выйдет, отпустить на волю их деток, а им самим, сверх такой его милости, ничего и не надобно. Понятное дело, затею ту тоже Настька придумала, а пан, даром что с гонором, без дальних слов и согласился. Согласился — да и укатил; видно, тоска его на самоте одолевать стала. Воротился пан тогда только, когда управитель оповестил, что дело всё сделано и можно гостей скликати.

Всем миром тогда налегли и управились к осени, потому как по осени в нашей местности серьёзные ветродуи — корень наиважнейший, чтоб товар наилучшим образом предъявить. А от этого, сами должны понять, что зависело.

Денёк выдался тогда яркий, ветренный, как мастера и подгадывали. Площадку перед скалой цветами украсили, дорожку, что от моста железного за скалу к речке

ведёт, чистым речным песочком посыпали, на каждый валун поставили меленки кованные с колокольцами, и у меленок крылья крутились, и звон тихий от колокольцев поширился — в общем, навели красоту. А за скалой сразу, вы туда чуток не дошли, а в сумороке не разглядеть, тоже малесенькая площадка имеется. Там бабы в тот день столы праздничные накрыли с пирогами да пирожными, самовары жаровые, до нестерпного блиску начищенные, вскипятили и дворню в нарядах праздничных наготове поставили— дорогих гостей потчевать.

Спустились дамы и господа от панского дома, прошли насквозь перголу — новомодная штука была, её тоже на тот случай поставили — перебрались через мосток, на площадке расположились и... стоят. Ветер маленько посвистывает, колокольцы легонько позванивают, кусок страшный над дорожкой качается — полный вид, будто в сей момент поползёт, обвалится и всех под собою прихлопнет. Стоять дороги гости, попритихали, к угощению не поспешают, меж собой перешиптуются. А пан вдруг как став смеяться — и остановиться не може, аж слезы з глаз, чуть от хохота боки не насадил. Так ухохатываясь, в три погибели согнутый, добрался до угощения — и стоит чай пьёт, руками махает — к столу гостей кличе. А только ещё один молодой офицерик пошёл, да приятель пана, что мельницу паровую построил, а остальные пошушукались, пошептались промеж собою, да в дом и возвратулись.

После того посещения и наказал пан на скале надпис выдолбить. «Дубиум» там надписано, «сомнение» значит. Вы вот тоже, заметил я, засомневались. А в войну в саду авиабомба жхнула, в имении стёкла все повылетали, деревья с корнем повыворачивало, а каменюка как раскачивалась да сползала, так и посейчас продолжает.

Старичок замолчал, склонил голову набок, прищурился, посопел чубуком, посмотрел на меня, улыбнулся хитро и закончил:

— А в округе скалу эту все «Настькиным камнем» кличут, и в книжках так, ясное дело.

